

БЫЛО ТАКОЕ время, когда несколько длинных лет — после напряженной корреспондентской работы — жизнь моя замыкалась в тесной городской коробке: ночью по стеклам окон скользял тревожно-суматошный свет автомобильных фар, теплый паркетный пол вздрагивал, за тремя стенами гудели саксофоны и били африканские тамтамы, а днем живое трепетное небо то и дело взрывалось: это реактивные самолеты преодолевали звуковой барьер. Я работал над большой книгой, писал ее на городском материале, медленно, трудно, уже, к сожалению, зная, чем повесть кончится, и, наверное, поэтому каждый день выкраивал счастливые минутки, когда под вечер вынимал из папки неоконченный рассказ. В нем все было не так, как за сплошным — без переплета — окном: там текла медленная и толстая Обь, шли белоснежные тихие пароходы, в темноте похожие на светящиеся грозди винограда, на берегу сказочным теремом стоял домик бакенщика Артемия Семеновича — человека веселого, бородатого и фантастически здорового.

За теремом, в полутора километрах, на яркой горшке лежала деревня Яя. Ах, какая это была деревня! Как только за высоким обским берегом показывались ее первые домишки, сразу думалось о человеке, который основал Яю. Он, наверное, шел куда глаза глядят с легкой котомкой за плечами, постукивал по земле тальниковой палкой и напевал громко, лихо, разгульно, как дрозд на рассвете. Он шел да шел и вдруг остановился. «Я-Я-Я!» — громко удивился человек и замер: так прекрасны были сосны, поляна, серп зеленой Оби за берегами, озеро, потом названное Чирочим... Вот так и встала на родное место деревня Яя, а человека с тальниковой палкой звали Артемием Семеновичем.

На семидесятом году жизни Артемий Семенович по утрам просыпался с детской улыбкой. Раскроет тяжелые выпуклые веки, хватит первую порцию утреннего речного воздуха и улыбнется так, что хочется вместе с ним свистать по-птичьи. А он уже на ногах, он уже стоит прямой, как тростинка, и гудит свежим басом:

— Теперь, парнишка, самое время — чайку!

Старик говорил громко, но тишину реки, земли, неба не нарушал, хотя только один господь-бог знал, как это ему удавалось. Однако именно сквозь голос Артемия Семеновича, сквозь его движения, смех и даже хохот заполняла дом сладостная утренняя тишина, и всегда в те минуты, когда он спускался умыватьсь под речной яр, над головой — постоянно в одном и том же месте — зеленела большая уютная звезда. А когда мы пили чай, на широком обском плесе, в тумане, дымке и утренней желтизне электрических огней появлялись пароход «Козьма Минин» — большой, как дом, ленивый, неторопливый, как его капитан Гребнев-старший.

Мы вместе ехали тушить бакены, и начинался день — голубой, счастливый, такой длинный, какой бывает только в детстве, когда от рассвета до заката солнца — месяц. Все было радостью: ужение рыбы, речи Артемия Семеновича, его борода, ровное веселье, одежда — холщовые штаны, выкрашенные в темно-голубой цвет, войлочная шапка такого фасона, в которой ходил за плугом Микула Се-

лянинович. А насаму к двенадцати начиналось самое большое веселье: приходила из Яи жена Артемия Семеновича с одним или с двумя внуками. Она была моложе мужа лет на десять — пятнадцать, и была еще ох как хороша! — с громадными черными «хохлацкими» бровями, в украинской одежде — радужной раскраски фартук, белая вышитая кофта, яркий полухалок — Мария Николаевна лебедем вливалась на утопанный пятачок земли возле избышки, весело и добродушно поздоровавшись с нами, вешала полухалок на колешек — и начиналось такое, что вызывало у меня черную зависть и восхищение: работа так и порхала в руках Марии Николаевны. Вот она, казалось, еще только начала чистить рыбу, а рыба уже аппетитно шкворчет на сковороде; вот она еще только

трапу перебралась на дебаркадер человек двадцать — тридцать, а за памятной мне ивой стоял средних размеров автобус.

Я в автобусу не пошел. Я стоял неподвижно на том месте, где когда-то была избышка бакенщика, а теперь высился небольшой курганчик, заросший густой травой. Автобус, призванный погудеть специально для меня, наконец ушел. Сормовский теплоход, по-орлиному медленно приподнявшись на подводные крылья, улетел за излучину реки, а я все стоял неподвижно: «Артемий Семенович, где ты? Понятно, что электрические бакены загораются и гаснут автоматически, сормовские теплоходы ни черта не боятся, но где же ты, Артемий Семенович? ...Потом я обнаружил, что, оказавшись, тихонько иду прочь от холмика земли, похожего на могильник, что приближаюсь к Яе, которая тут же и открылась во всю ширь, да такая, что мне от удивления и оторопи пришлось сесть на замшелый пенек. Господи, откуда эти буровые вышки? Кому это понадобилось построить в центре деревни десяток двухэтажных домов, раз-

трех сторон опоясывающие стены; что случилось с окнами, отчего они сделались большими? И, наконец, кто это такой сидит в кресле с цветной книгой в руке? Ба! Да это — весь в бархатистом вельвете — готовит уроки, солидный внук Витька.

— Да ты проходи, проходи, Владимирчик!

Немного успокоившись, мы сели за современной работы стол, задумчиво оглядывая друг друга, замечали обоюдные перемены: Артемий Семенович за три года, конечно, немного постарел, борода сделалась почти белой, укоротилась, поредела, кожа на лице обвисла, хотя на щеках лежал прежний веселый стариковский румянец. За восемьдесят было Артемию Семеновичу — срок в двадцатом веке немалый, а что касается меня, то старик сказал:

— Избушки-то нет! — тихо сказал я, повертываясь к Артемию Семеновичу. — Холмик торчит, а кругом трава да трава... — Избушка-то, вон она! — неожиданно громко произнес Артемий Семенович и трубой показал в темноту, где возле знакомого мне сеновала смутно белела небольшая пристройка. — Как электрические бакены поставили, а меня на пенсию послали, так начальство и говорит: «Бери себе дом-то! Может, чего и сладишь!» Ну, и сварганил себе заводик... Там у меня и столарка, и слесарка, и моторы электрически, и вся рыба счастья... Большое удобствие получилась!

Он еще раз взмахнул трубой, словно погрозил избышке, и залился прежним мальчишеским неудержимым хохотом, покачиваясь из стороны в сторону, как мусульманин на молитве. А над его белой пышной шевелюрой стрекотал шестой вертолет — что-то экстраординарное происходило у геологов!

— Артемий Семенович, — еще тише прежнего спросил я, — а не жалеешь ли ты о том, что избышку на дворе? А Яя?.. И чувствовал я, что раздает меня тоска и жалость к Артемию Семеновичу, жизнь которого так резко поломала цивилизация, заполонившая Яю в космически короткие сроки. Я глядел на старика, который несколько секунд сидел тихо, неподвижно, переваривая мои слова.

— А чего же, — задумчиво сказал он, — бывает, что и вспомню бакены-то... Ране, конечно, и рыбы в реке водилось поболее... А избышку не жалею. Скучная она была, избышка-то. Вот ты попробуй-ка посиди целым днем бирюком... Я, бывало, до того доходил, что гляжу на ясное небо, а на нем всякая хреновина рисует. Нет, избышку я не жалею! И за Яю я довольный. Говорят, что она может и городом стать, если нефти поболее найдут...

Трубка вспыхнула ярко, погасла, потонула над ней сизая полоска дыма и исчезла. Потом на небе что-то вспыхнуло, покатило, тоже погасло — это упала звезда. Ведь было начало августа, когда по всей России часто падают на землю звезды. А потом по небу пронесся реактивный самолет, и сторожевые огни на нем так помаргивали, что казалось: машина взмахивает огненными крыльями...

Я рассказал эту историю потому, что часто думаю о своей творческой судьбе и судьбе моих коллег — писателей, которых с чьей-то легкой руки называют «деревенщиками». Не слишком ли мы порой увлекаемся одинокими избышками, забыв спросить хозяев: нравятся им они или не нравятся?

Виль ЛИПАТОВ.

ДОМ НА БЕРЕГУ

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

спешит за веником, а уже в избышке чистота; вот, казалось, еще только младший внук Витька сорвался с обрыва, а уже Мария Николаевна хлещет его рукой по тугому заду. А как солидные были внуки старого бакенщика: Витька, этот мужичок с ноготок, когда начинали есть уху, расчетливо подставлял под ложку кусочек хлеба, значительно прищуривался и говорил басом: «Вечно в ухе перцу мало! Говоришь им, говоришь, а толку нету».

Светило солнце, облако, похожее на льдинку, висело над зеленой Обью, над голой млеи в истоме загнутые саблями листья старой ивы, покой, первозданность, тишина, в которой слышно, как бьется собственное сердце, как радостно струится кровь в розовых от солнца пальцах. А вечером, когда мир делался маленьким и уютным, и мне наутро предстояло уезжать, сами по себе приходили на ум строчки, заканчивающие пушкинскую поэму «Руслан и Людмила»:

Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек,
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений.

...Одним словом, я написал рассказ о бакенщике Артеми Семеновиче, вернее, набросал на машинке черновик, который требовал вторичной переписки на той же машинке. Увы! Не помню уж, по каким причинам, но рассказ так и остался в первом, отвратительном машинописном материале, а журналистская судьба забросила меня снова в деревню Яю.

Я подсчитал, что не был в Яе три года и два месяца. Сормовский теплоход на подводных крыльях за добрый километр от деревни начал опускаться на выпуклое брюшко, чтобы на огромной скорости не врезаться в крутой берег. Присев на днище, стремительный, похожий на ракету теплоход превратился в некоторое подобие большого катера прежних времен и в таком смиренном виде прилип к темному дереву двухэтажного дебаркадера, которому, ей-богу, на мой взгляд, нечего было делать возле яского берега. Какого черта, на самом деле, поставили здесь дебаркадер, если на него с теплохода вместе со мной сошли только три человека. И... я прикусил губу от неожиданности, так как по второму, заднему

бить дурацкий сквер с недомержами-березами, и кто это придумал — поставить на площадке стеклянный гастроном типа «Радуга» или «Рассвет»?

— Я-я-я! — прошептал я в ту секунду, когда по главной улице деревни пропылила «Волга», и остановилась возле магазина — «Радуга». «Рассвет», «Светланы» или «Чародейки», леший их побери! А еще через минуту из переулка серым слонным вылез огромный пыльный вездеход, дыша соларкой и жаром, прополз мимо меня, и из него, как из бронетранспортера, посыпались мужчины геологического вида. Столпотворение! И нет здесь места ей, «богине тихих песнопений».

— Я-я-я!

Дом Артемия Семеновича был цел, стоял на месте. Свежий забор обнимал двор и палисадник, куда-то исчезла толстая скамейка, вкопанная обочь ворот. Судя по всему, дом ремонтировали недавно, забор был плотный, однако низковатый для Артемия Семеновича, и я почувствовал страх: «Новые хозяева?!» После этого я бесшумно открыл калитку, на цыпочках прошел до знакомого крыльца, хотел уж было подниматься, как сенная дверь отворилась, и раздался радостный рев:

— Да ты, это, куда запропастился, парнишка? Да что это с тобой подеялось, что от тебя — ни слуху, ни духу, ни комариного писк! Ну, а теперь давай-ка поцелуемся, парнишка... Ай, да ты, парнишка, в седину вдаришься!

Живой, веселый, ничуть не изменившийся Артемий Семенович по-медвежьи схватил меня, до слез обрадованный моим приездом, обнимая и тиска, кричал на всю улицу Марии Николаевне, чтобы она, перво-наперво, бежала в сельповский магазин за тем, за чем положено, чтобы, вторых, на приезд гостя из области собрала дружок хороших и, в-третьих, чтобы стол ломился...

— Артемий Семенович, дорогой человечек...

Я не вошел, а ворвался в дом, когда старик пригласил меня проходить, ожидая увидеть привычную картину, зimmer на середине комнаты, которая раньше называлась горницей, а теперь... теперь ее надо было называть гостиной. Куда исчезла, словно испарилась, печка, где лавки из толстых кедровых досок, с

— Ты заматерел, Владимирчик! Однако заседел шибко...

Полетывала, пошумливая, бурляла вокруг нас Мария Николаевна: раз — и белая скатерть покрывает стол, два — и появились на нем огурцы, помидоры, сало, консервы, колбаса, копченая и соленая рыба, три — и встала посередине блестящая бутылка «Московской», четыре — и начали входить один за одним в дом наши общие приятели-старички, все сплошь охотники, рыбаки, пчеловоды, конюхи да сторожа при магазинах и колхозных амбарах. Собиралась старая гвардия!

И начался неторопливый сладкий пир. Потом же, когда первый аппетит был приглушен потихонечку да пологонечку начался по-сибирски неторопливый и обстоятельный разговор. Поначало у том, что у Чаусовых корова третий день не может отелиться, а у Мурзиных картошка до сих пор не окупена — вот лентин-то, — а затем беседа пошла о другом: о нефти, которая «вдарила» еще в одной скважине, об инженер, который месяц назад купил себе «Москвич», а вчера разбил его так, что теперь и не собрать... А сам Артемий Семенович, закурявая трубку, рассказывал о том, что старший сын Николай перевелся на работу в Томск, дочь Людмила теперь — директором десятилетки в Яе, младший сын Петр подался к геологам, хотя каждую ночь спит дома. «Главная беда Владимирчик, что Коляка, который в Томске, с бабой живет плохо. Она, пойми ты, инженер, а он еще на заочном, еще по первому курсу старается... А теперь без образования — зарез!»

В двенадцатом часу ночи мы с Артемием Семеновичем, распровавшись с гостями, дружно решили переночевать на сеновале. Ночь вокруг была настоящая, нарымская — глубокая, мелкозвездная, низконебая, безлунная. Самыми крупными «звездами» казались огни на вершинах двух буровых вышек, зажженные для того, чтобы на вышки не натянулись самолеты, которые то и дело пролетали над деревней или поселком — бог знает, как теперь именовала Яю районная власть! Не бакены, а звезды на буровых вышках — вот что произошло за три года, и мы не успели покурить, как над Яей прогремели два реактивных самолета, прожужжал «АН-2».

Мы курили, молчали, слу-